



Каган Д. Расскажи живым. Лида

Лида

Машина въехала на окраину какого-то города и вскоре остановилась у железных ворот.

- Где мы? - спрашивает Гриша, с трудом размыкая, пересохшие губы.

- Отправляли в Лиду, значит, сюда и привезли, - отвечает рядом сидящий.

Подняли шлагбаум, машину пропустили во двор, стали снимать носилки. Здания военного городка сумрачные, серовато-желтого цвета, осевшие, во многих местах побиты осколками бомб. Раненых внесли в казарму, сплошь заставленную железными и деревянными нарами. В ряду нижних нар нашли свободное место, положили меня. Гришу отнесли в другой ряд. Санитар принес алюминиевую кружку.

- К-к-о-тел-ка н-нет. Да о-он здесь и н-н-нужен.

На худых его плечах гимнастерка без ремня кажется очень широкой. Лицо смуглое, молодое, а среди черных волос блестят частые седины. Заикается, наверно, контужен.

- Спросите у ребят: кто тут из пятидесятого девятого полка, - прошу его.

- С-с-сп-п-рошу.

Вечером стали раздавать ужин. Плеснули двести граммов темноватой жидкости. На дне кружки оказалось несколько крупинок неочищенного проса.

Заговариваю с соседом:

- Тут не только без котелка, но и без ложки обойтись можно.

- Да... Выпьешь эту бурду и еще сильнее есть хочется.

- Слыхали что-нибудь о фронте? Где фронт?

- Где фронт - не знаю, - ответил сосед, - врать не хочу. Немцы многое брешут. Будто уже и армии нет, и советской власти нет.

- Ну, это им так хочется... Может, не от хорошей жизни так говорят.

- Впервые почувствовал всем существом своим: личная судьба зависит от судьбы страны.

Подождал санитар, сказал, что из моего полка никого нет.

К утру боль в ране усилилась, потянуло сладковатым запахом.

- Узнайте, - обратился я, к санитару, - будет ли перевязка.

Он сходил к врачу, вернулся и сообщил, что скоро всех командиров переведут в отдельную комнату, на второй этаж. Там и перевяжут. Я не командир, а врач срочной

службы, то есть рядовой, но объяснять этого не захотел. Да и не поймут немцы: как это - врач и не офицер? А намерение лагерного начальства не трудно разгадать: они хотят исключить какое бы то ни было влияние командного состава на рядовых бойцов. Перенесли на второй этаж. Все лежачие, меня положили рядом с артиллеристом Рыбалкиным. У противоположной стены Ивановский, — в своем полку он был начальником аптеки. В ряду к окнам на двор поместили пять человек. Томилина не видно, может быть, не всех раненых вывезли из Щучинской больницы, или он здесь, в корпусе, но сказался рядовым, а не командиром. Санитар у нас гражданский. На нем рубаха-косоворотка, рабочие брюки.

- Зовите Данилом Петровичем! - отвечает он на вопрос об имени. Заметив, что его гражданская одежда вызывает недоумение, поясняет:

- По пьяному делу получил год заключения... Работали здесь, недалеко от границы. Немцы захватили нас врасплох. Стал объяснять, что я не военный, так солдат меня чуть не застрелил. «Врешь! - говорит и показывает на голову. Раз не старый и стриженный наголо, значит, в армии! Даниле Петровичу лет сорок, заметна седина на висках и небритом подбородке. Плотный, среднего роста, серые глаза из-под нависающих густых бровей смотрят внимательно и бойко. Он быстро приобрел доверив всей палаты. При раздаче баланды священнодействует: всем поровну, с точностью до одной капли, и никому ни крупинки больше. Себе наливает в последнюю очередь. Принес нож, лучинки, показал, как вырезать лопаточку величиной с палец, чтоб выскребать прососе дна кружки. Он умеет и любит рассказывать о своей прошлой жизни. О Москве, о том времени, например, когда работал санитаром у профессора Вейсборда.

— В больнице его видели и днем, и ночью. В тридцать девятом году добровольно пошел на финский фронт. А ведь ему много лет, он еще Ленина лечил.

Весь день держу под матрацем сухарь, вспоминая о нем, глотаю слюну, но терплю до ночи, зная уже по опыту* что, не съев чего-нибудь на ночь, не засну. А не спать ночь и гадать: заберут ли тебя утром или еще день пройдет, - это хуже, чем голой. Длинный летний день кажется бесконечным...

Знают ли немцы, о моей национальности? Назвать себя русским, если спросят? Как быть с дипломом? Порвать его и сменить фамилию? Но они могут с помощью врачебного осмотра установить, кто здесь «юдэ». Тогда как доказать, что я врач? Возможно ведь, что с уничтожением врачей немцы еще повременят. Работают же здесь, в лазарете, врачи евреи из Лиды.

Как-то доверительно поделился своей тревогой с Данилой Петровичем. Он подержал диплом, подумал и отдал обратно.

- Держите, пригодится!

Больше к этому не возвращаюсь. Будь что будет!

День начинается с прихода в палату унтер-офицера. Тыча пальцем, он пересчитывает всех. Закончив счет, записывает в книжечку. Сегодня он останавливается около Ивановского и угрожающе произносит: Юдэ!?

Ивановский краснеет и машет рукой:

- Нике юдэ, русский!

Унтер-офицер тихо смеется, круглый живот подпрыгивает. Доволен, напугал! У Ивановского черные волосы и немного удлиненный нос, хотя он родился в семье, смоленского крестьянина. Нос как нос, но кто знает, что говорили этому немцу, отправляя на восток, о внешности русских? Что буду отвечать, если он и меня начнет спрашивать? Решаю: русский! Может быть, он в фамилиях не разбирается или еще фамилий раненых не знает толком. После проверки Данила Петрович приносит баланду и сухари. На каждого - кружка отвара из тухлой конины и два сухаря. В шесть часов вечера будет вторая кружка, но уже без сухаря. Суп варят из трупов убитых лошадей, при июльской жары мясо быстро гнивает. Прежде, чем выпить свою порцию темной жидкости,

выбрасываю всплывшие на поверхность белые тельца червей.

- До чего жадюги! - Данила Петрович в сердцах материт лагерное начальство.

- Здесь же, в военной городке, после наших остались склады с консервами, мукой, крупой и всякой всячиной.

- Чтоб вор да отдал награбленное! - откликнулся лейтенант Новгородний.

- Им что ни попади под лапу - все сгребут. Про них и поговорка: сколько собаке не хватать, а сытой не бывать!

Окупанты знают толк в трофеях, опыт большой у них. Консервы можно отправить nach Hause, в Германию, или здесь обменять у голодающих горожан на хорошие вещи.

Трофейные марлевые бинты они забрали себе, а свои, из гофрированной бумаги, выдают врачам лазарета, и то по счету, один раз в неделю. В гнойных повязках уже завелись черви - личинки мух.

Расскажи кто-нибудь раньше о такой жизни, то подумал бы, что ничего другого не остается, как ждать своей участи, вперив в пространство взгляд, полный тоски и страха.

Каждую минуту может войти немец, назвать твою фамилию и вызвать на допрос, на расправу. А не сумеешь пойти, так поволокут. Голод сушит нутро и уже не хватает слюны, так часто ее глотаешь, по человек и в таких условиях - не загнанное на охоте животное. Вот все девять больных улыбаются, глядя на гражданского доктора

Старопольского. Тот заканчивает обход. Все в нем приятно: и седая бородка клинышком, и розовая лысина. Широкоплечий, низкорослый. Сейчас он остановился около больного, крайнего от двери. Узнав, что тот из Днепропетровска, радостно восклицает:

- Знаю! Знаю. «И там я был, и мед я пил!» Пиво там замечательное. Только давно это было, в тринадцатом году. Екатеринославом тогда город назывался.

На вопрос, что слышно о фронте, он не отвечает, только разводит руками. И помолчав немного, обращается ко всем:

- А скажите, кто написал:

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить,

У ней особенная статья,

В Россию можно только верить.

Лицо одухотворенное, голова немного запрокинута назад. Ему около пятидесяти. Здесь, в Лиде, прошли двадцать лет его врачебной практики. После окончания Харьковского университета был военным врачом в первую мировую войну. Потом поселился в Лиде.

Второй день не появляется Старопольский в палате. Говорят, его посадили вместе с другими одиннадцатью заложниками, известными в городе людьми, будут держать до тех пор, пока еврейская община не соберет контрибуцию к сроку - убьют заложников.

У окна лежат лейтенант Новгородний и политрук Аркадий. Оба одних лет, рослые, красивые. У Новгородного касательное ранение живота и повреждение тазовой кости.

- Что это острое торчит? - спросил он однажды во время перевязки; - неужели кость?

- Ничего! - успокоил его врач, - выйдет с гноем.

Политрук температурит, по вечерам его лихорадит. Раненая нога распухла. К нему все относятся предупредительно. С ним редко заговаривают, но если есть лишняя закрутка табака, то передают Даниле Петровичу, а тот, будто из своих запасов, потом отдает Аркадию. Каждый из нас ждет своей судьбы и не знает жизнью или смертью она обернется. Он же знает, что смерть ждет его за дверьми. Немцам известно, что он комиссар. В броневике выехали на разведку, с ним водитель и боец-стрелок. Попали под минометный обстрел наступающих немцев, машина загорелась, Аркадия и водителя ранило. Выскочили из броневика, кое как добрались до редкого леса. Уйти не удалось, немцы окружили и стали прочесывать лес. Звезда на рукаве, значит, комиссар.

- А жить хочется, Коля! - закончил он свой рассказ.

- Еще и воевать мог бы...

- Жил, как, коммунист, и умирать надо коммунистом! - резко, скрывая жалость к

товарищу, сказал Новгородний. И помолчав немного, как бы про себя добавил:

- Умереть мы сумеем...

Аркадий ждёт каждую минуту, что за ним придут гестаповцы. Новгородний записывает на клочке бумаги адрес Аркадия: Ленинград, улица Желябова...

За окнами лазарета шумит лагерь. Военнопленные все прибывают, в казарках, нет, мест, и тысячная толпа с наступлением ночи ложится вповалку на землю.

Водопровод не работает, привозной воды не хватает — пьют, что попало. Часто во время проверки, из лагеря доносится свирепый лай, крик пленных. Это начальник вахткоманды со своей овчаркой приходит послушать рапорты полицаев. Собака бросается на тех, кто опаздывает стать в строй.

К Новгороднему пробрался из лагеря его земляк и однополчанин, совсем еще юнец.

Присев на койку, он рассказывает лагерные новости. Формируют команды для отправки в Германию:

- Меня, может быть, не увезут, я говорю, что приехал сюда, в Западную Белоруссию, к сестре в гости. Как, поверят? - спрашивает он лейтенанта, поглядывая на свою гражданскую майку и брюки.

Новгородний молча пожимает плечами. Оба молчат, каждый, наверно, вспоминает свой отчий дом в далекой Сибири.

- А скоро война кончится?

- Кто это может знать? - отвечает Новгородний недовольный наивностью вопроса. - Как я понимаю, все только начинается. Поправил упавшие на лоб длинные льняные волосы, отвернулся.

Рядом с Ивановским лежат Клейнер, комиссар полка, и врач Пушкарев. Пушкарёва призвали в армию из Тулы, незадолго до войны, хирургом медсанбата. В палате он самый старший. Можно дать и шестьдесят, если судить по морщинистому смуглому лицу и седой голове, но в таком возрасте в армию не призывали, наверно, он значительно моложе. Рана на правом бедре небольшая («зацепило с краю» — как он сам говорит), гноится, ходить Степан Иванович не может. Иногда присядет, принимая от кого-нибудь окурков, или передавая его соседу. О себе мало рассказывает, но любит послушать других, иногда улыбнется или вставит меткое слово. Его впалые небритые щеки чем-то напоминают мне отца, я часто поворачиваю голову в его сторону. Полк, где служил Клейнер, не сумел отойти на восток, но людей и оружие не растерял. Немцы уже заняли Барановичи и Минск, а под Гродно все еще была слышна артиллерийская стрельба. Полк стремился пробить толщу окружения и выйти к своим. Жена и дети Клейнера остались в Гродно. Его привезли в госпиталь в бессознательном состоянии. Гестаповцы заметили звезду комиссара на гимнастерке. Этого достаточно, чтоб занести в список подлежащих уничтожению. Но не в их правилах покончить с человеком быстро, не потянув из него жилы. Пусть полежит, помучается бессонными ночами в ожидании допроса и расстрела. Постепенно чувство ожидания смерти притупляется обреченный начинает строить план побега. Мечта о возвращении к своим, в армию, о встрече с семьей кажется осуществимой. К этому времени уже появляются признаки заживления раны, нога становится послушной. Вот тут-то и явятся гестаповцы и с порога махнут пальцем: выходи, пришла и твоя очередь! Данила Петрович объявил, что в окна смотреть запрещено. Если часовой увидит - будет стрелять без предупреждения. Казарма окружена высокой изгородью из колючей проволоки, снаружи ходит патруль. Это - кроме охраны вокруг всего военного городка. К чему такая охрана вокруг лазарета - немцы, наверно, и сами толком не знают, но они любят «Ordnung» - порядок, а какой может быть порядок без колючей проволоки и пулеметов?! И - «Хайль Гитлер!»

День идет к концу. Кружка «гитлерзуппе», как называют баланду, выпита час тому назад, мучительно сосет под ложечкой от голода.

Кто-то, забыв уговор не вспоминать о еде, рассказывает:

- У нас, в деревнях, делают клеточки с душами. Натрет баба картошки, закатает в

картофельные комы жирное рубленое мясо...

- Ну, и скотина! Другой темы у него нет! - ругается мой сосед Рыбалкин.

Артиллерист не любит ныть, умеет и грустное превратить в шутку. Устав от болей, с трудом поворачиваясь, - у него ранение в поясницу приговаривает:

- О —хо —хох, чаму я маленький ня здох?!

- Вы, что здешний белорус? - спрашиваю его, услышав знакомую поговорку.

Сверкнул, усмехаясь, золотой коронкой, почесал рыжеватые волосы.

- Брянский я. А. служил здесь.

В палату стал заходить врач Петнов. высокий, сутулый. Он не раненый, работает в лагерном медпункте. От многолетнего пьянства кончик носа потемнел, немного раздут. Приходя, усаживается около Пушкарева. Пушкарева он побаивается, но его тянет на разговор с более сильным человеком.

- Как дела, Степан Иванович?

- Как сажа бела. Махорки нет?

- Нет! Если б встретились раньше, угостил бы и винцом, и табачком. Ах, жизнь была! - пускается он в хвастливые воспоминания о своей деятельности на посту санитарного врача, когда ему угождали и завмаги, и даже директор пивзавода.

Мы молча слушаем его, ожидая, когда он уйдет.

- Слыхали, Смоленск немцы взяли? Колонну пленных оттуда пригнали. При таких темпах они на днях и Москву возьмут!

Опять молчание, никто разговор не поддерживает. Петнов в раздражении поднимается.

- Что, не верите, Степан Иванович? Говорят вам, что через месяц они будут на Урале!

- На...боком! - медленно, со вкусом выговаривает Пушкарев под громкий смех палаты} и от стратегии Петнова ничего не остается. Тот багровеет от досады и уходит.

- Хорошенькая стерва! - аттестует его Рыбалкин.

Думали, не скоро Петнов придет. Однако на следующий день он снова появился. На брюках и сапогах редкие капли крови. Молча сел около Пушкарева, положил руки на колени. Пальцы, дрожат, лицо бледное.

- Рассказывай, что в лагере? - спрашивает Степан Иванович.

- С немцами шутки плохи, вот что! Сейчас перевязал четырех пленных. Овчарки изгрызли.

- Откуда пленные?

- Из нашего лагеря. Залезли в склад, где лежат мешки с сухарями, а немцы окружили и пустили туда овчарок. Собаки здоровые, лошадь повалят. Раны глубокие, до костей! Всех притащили на носилках. Покусанные не кричат от боли, а судороги по лицу ходят глаза, как у сумасшедших: прислушиваются, оглядываются, овчарок боятся. Я посидел с ними и ушел. От такой жизни и сам с ума сойдешь. - Петнов стал искать что-то в карманах, но не найдя, наклонился к Пушкареву. - Такие-то дела, Степан Иванович... Скорей бы уж войне конец, туда или сюда, как говорится.

- Оно и видно, что ты «туда-сюда».

- Ты прав, Петнов! - с издевкой над ним говорит Ивановский - Мы люди темные, нам бы гроши и харч хороший!

Безучастный к словам Ивановского, Петнов сидит согнувшись, Потом повел блуждающим взглядом, медленно поднялся, слабой, неуверенной походкой пошел к дверям. Видно, что сегодняшняя охота на людей потрясла его.

Дни идут медленно. Скоро месяц после ранения, а все лежу на спине, — повернуться на бок невозможно, гипс мешает и кость еще не срослась, на всякое движение отзывается болью. От неподвижного лежания на соломенном матраце крестец горит как обожженный. Читать газеты пленным запрещено, но иногда кто-нибудь из санитаров находит газеты в лагерном мусоре. Прежде, чем разорвать, ее просматривают те, кто разбирает по-немецки. Кричащие заголовки из аршинных букв режут глаза. «В России хаос», «Доблестные войска фюрера устремились к Москве!». Похоже на то, что кое-кто

еще сомневается в быстрой победе, а газета доказывает, что до нее рукой подать. Однажды принесли «Новое время» — русскую газету небольшого формата, издаваемую в Берлине. На первой полосе статья Блюменталь-Тамарина - очевидца, так сказать, свидетеля... Этот не пожалел седин своей матери - народной артистки. Взахлеб приветствует «освободителей» и их «новый порядок». Рассказывает, как не ценили его, мешали в творческом росте, год он сидел, а освобожден потому, что мать хлопотала. Наконец-то ему повезло: перед войной приехал с трупой на гастроли в Черновцы, и здесь, - о, радость! - попал к немцам. В каждой строке - «коммунисты и жида», - чем гуще, тем лучше, знает как угодить. Первым гестапо забрало Клейнера. Утром широко распахнулась дверь, у входа вытянулся ефрейтор. Быстрой походкой вошел офицер, высокий, худой. Над его маленьким, сухим лицом фуражка с высокой тульей кажется огромной. Нервно пошлепывая лайковой перчаткой по ладони левой руки, оглядел всех и вслед за ефрейтором приблизился к Клейнеру. Затем отступил на середину палаты, не торопясь натянул перчатку, и, что-то приказав ефрейтору, вышел. После ухода гестаповца воцарилась гнетущая тишина. Говорить не о чем, все ясно. Молчит и Клейнер, затягиваясь окурком, может быть, уже последним в его жизни.

Снова явился ефрейтор в сопровождении двух солдат, вооруженных автоматами.

- Ком! - приказал он Клейнеру.

Комиссар погасил окурки, встал, надел шинель, фуражку. Прихрамывая, отошел от койки, остановился, приложил руку к козырьку.

- До свиданья, товарищи! - произносит он, идя навстречу своей смерти. В голосе - напряженность, боль, а все же улыбнулся.

- До свиданья! Прощай, Клейнер!

Через два дня пришли за Аркадием. Торопливо уложили на носилки. Данила Петрович сунул в изголовье подушку, но конвоир отшвырнул ее. Аркадий молча пожал руку Новгороднему, поднял голову с носилок, кивнул каждому. Нагноение раны, высокая температура, голод иссушили его. На губах - коричневые корки, щеки и виски ввалились. Он бы и так не выжил, от заражения крови умирали и более сильные. Но гестаповцам хочется доложить о количестве уничтоженных комиссаров, а если своей смертью умрет, то какая их в том заслуга...

У нас другой санитар. Данила Петрович пытался убедить немцев, что он не военный и в плен попал случайно, надеялся, что его отпустят. Но они рассудили иначе: с первым же транспортом Данилу Петровича направили на работу в Германию.

Новый санитар много о себе не говорит.

- Жорка. Из Ростова.

Он низенький, худощавый, верткий. Жесткие, черные волосы покрыты ранней проседью. Что-нибудь определенное сказать про него пока трудно. Матерщинник, видно, любил выпить. Но не в этом сейчас главное. Свой? - гадаем мы, - или, как Петнов, «туда-сюда»? В разговоры о войне редко вмешивается, не торопится высказать свое мнение. Начало августа. Ночи стали длиннее, прохладней, голодный человек сильнее чувствует холод.

- Крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой! - хриплым голосом напевает Жорка, принося кружку супа, в котором ничего нет, кроме воды и нескольких крупинок проса на дне. Груб в разговоре, скверное слово через два на третье, а товарищ хороший, сочувствовать умеет. «Не стесняйтесь, интеллигенция, зовите!» - говорит он, имея в виду тех, кто сам не может ходить к параше. Над кем-нибудь пошутит; «Почему мало, как у овцы? Или кормлю вас плохо?»

Я уже пробую приподыматься. Как-то Пушкарев посоветовал:

- Начинай двигаться, ходить, а гипс пусть еще будет на ноге.

- С охотой А где подпорки взять?

Жорка принес костыли, помог встать.

- Ух, ты, хо-ро-шо! - восклицаю я и тотчас сажусь, голова закружилась. Бережно положил

костыли рядом - Спасибо, Жора!

На следующий день я начал передвигаться, посидел около Пушкарева и Ивановского, подошел к окну. Из окна видна огромная площадь лагеря, разделенная на участки колючей проволокой, обнесенная каменной оградой. Вдали, на горизонте, едва удается различить синюю полоску леса. Если смотреть левее - там восток. Там, за сотни километров, - Минск, еще дальше - Смоленск, и, наконец, Москва. Москва! Слово-то какое! - круглое, крепкое, звучное и каждая буква в нем искрится.

Долго стоять около окна опасно, часовой заметит. На костылях можно быстро передвигаться, если бы голова не кружилась. Вспомнился сокурсник, у которого еще в детстве ампутировали ногу. Бывало, кончаются занятия, студенты гурьбой торопятся к трамваю, и он, опираясь на костыль (двумя не пользовался) и подпрыгивая на одной ноге, успевал со всеми и вскакивал на подножку трамвая. Понятна стала и та ревность, с которой он оберегал своего деревянного друга, не позволяя никому трогать.

В один из пасмурных дней, после полудня, необычная тишина воцарилась за окном. Рыбалкин приподнялся, вытянул шею, и, рассматривая площадь лагеря, крикнул:
- Смотрите, что делают!

На краю площади в две длинных колонны выстроены пленные. Кто в гимнастерке, кто в шинели, некоторые мешками прикрываются от моросящего дождя. Многие разуты, часть в опорках, сапог — ни на ком. Два дюжих гитлеровца бьют палками расprostертого на скамейке человека. Видно, как сгибаются и разгибаются их спины, черные палки мелькают в воздухе. Двое бьют, а двое держат: один уселся на голову, другой - на ноги.
- Первый раз вижу такое... - Ивановский понуро поплелся к своему месту.

Задребезжали стекла от гула идущего на посадку, тяжелого самолета. Сквозь низкие облака промелькну яя закопченные у моторов плоскости, по краям их - черные кресты. Прекратились разговоры. Каждый из нас думает свою думу. Никогда не казалась реальной встреча с фашизмом лицом к лицу. Фильмы о них смотрели, читали статьи и книги, а не входило надолго в сознание. Фашизм был где-то далеко, в Европе...

Лагерь постепенно пустеет. Умирают, а кто еще на ногах, тех отправляют в Германию. Раненых перевели из лагеря в помещение бывшего военного госпиталя. Два двухэтажных корпуса, в одном из них - инфекционном - лежат больные дизентерией. Вокруг лазарета - каменная ограда, а по углам ее - вышки с часовыми. Объявлено: во двор не выходить, будут стрелять без предупреждения. Рядом со мной лежит Белов, военный врач. Его недавно привезли из Сапоцкинской больницы. Он ленинградец, окончил военно-медицинскую академию, а служил в Кобрине. За день до нападения Германии получил отпуск и в ночь на 22 июня с женой и ребенком поехал в Ленинград. На рассвете пассажирский поезд атаковали немецкие пикировщики, состав был разбит в щепы. Взрывной волной Белова выбросило из вагона, он потерял сознание. Жена и дочь сгорели в вагоне. Белов и сейчас как оглушенный. Часами молча лежит на спине, по его отсутствующему взгляду можно понять, что мыслями он не здесь, в лазарете, а там у горящего поезда... Когда с ним кто-нибудь заговаривает, от медленно поворачивает голову, просит повторить вопрос и отвечает односложно. Рана на стопе большая, заживает медленно. Если нужно подняться, Белов берет мои костыли. Он ниже ростом, костыли ему приходится расставлять широко.

Скоро конец августа. О том, что Москва взята, немцы больше не говорят. Молниеносная война не состоялась. Однажды Жорка выглянул в окно и крикнул часовому на дворе: «Москау капут?» Часовой, уловив иронию в голосе, выругался, щелкнул затвором и вскинул ружье.

- На нашу артиллерию жалуются, - объясняет Сидоренко настроение немцев.

- Помню, один пленный немец говорил - «О-о, ваша артиллерия. Если бы не она, давно бы русский проиграл!». Старший лейтенант Сидоренко взят в плен в июле, он ранен под Гомелем. Рассказывает, что город оставлен недавно, после длительных и упорных оборонительных боев, большинство горожан и оборудование заводов успели

эвакуировать. С волнением слушаю его рассказ. В Новобелице, под Гомелем, проходил практику после четвертого курса, в город мы ездили часто. Река Сож, огромный парк вокруг бывшего дворца Паскевича. В парке пруд, в нем, вдали от мостика с ажурными перилами, плавали лебеди. Со второго этажа двое суток подряд раздавались стоны тяжелораненого. Утром его вынесли — умер от перитонита. Конвоир пристрелил его шутки ради. Эшелон с военнопленными остановился в пути. Пленный вышел из вагона-телятника, залез под него нужду справить. Вдоль вагона прохаживался часовой. «Голый зад в виде мишени?! Это интересно!» Немец хохотнул, прицелился и выстрелил. Пуля раздробила позвоночник и вышла через живот.

Меню раненых изменилось: вместо двух кружечек баланды в день сейчас дают одну.

Напрасно больные стараются выловить и съесть все крупинки проса. Просо не очищенное, оно не переваривается. В воскресенье привозят еду из лагеря позже обычного, часов в двенадцать. Бочку как всегда ставят в коридоре и черпаком разливают санитарам в ведра, а те уже несут больным. Еще до того, как принесли ведро, из коридора потянуло запахом уборной. Запах издает баланда, приготовленная сегодня из немытой требухи. Стоит поднести кружку ко рту, как тотчас появляется тошнота. Чтоб не слышать вонь, рукой зажимаю нос. Но и такой прием не помогает: запах кала настолько сильный, что, кажется, проникает сквозь кожу.

- Опять ничего не получается. - В третий раз пытаюсь сделать глоток.

- Ешьте, без еды умрете, - говорит Белов.

- Да, здорово сегодня нам на клали, запомним надолго! - Рыбалкин ставит кружку на подоконник, но от тошноты трясет головой. Но немытая требуха - еще не все. Заканчивая разливать баланду, раздатчик зачерпнул со дня бочки что-то мясистое, круглое и. выругавшись поначалу, пошел показывать пленным. Приоткрыл и нашу дверь.

- видели?! Это от коменданта на закуску! - В левой руке у него ведро, а в правой черпак с конским половым членом.

- Ну, на кой ты?... - ругается Сидоренко, угрожающе присев.

- Ты ему и отнеси, да скажи, что дураку и эта штука - игрушка! Раздатчик скрылся за дверью.

У нас в корпусе умирают часто — от голода и ран, но еще чаще в соседнем, инфекционном. Ежедневно оттуда выносят шесть-семь покойников и хоронят во дворе. От дизентерии редко кто выживает. Баланда, из тухлой конины ускоряет гибель. Ее нельзя есть, но больной не в силах отказаться. «Э-э, все равно помру!»

В лазарете работают и гражданские врачи и военнопленные. Старопольского уже нет говорят, расстрелян немцами как заложник. Танненбаум-хирург и Гроер-терапевт ежедневно приходят из гетто и весь день находятся в лазарете. У Пушкарева рана заживает, уже ходит без палки, лечит других. С ним почти неразлучен врач Спиз, украинец. Он тоже хирург, после ранения хромотает также, как и Пушкарев. Есть и молодые врачи - Мостовой из Воронежа и Прушинский из Курска. Мостовой уговаривает меня согласиться на ампутацию, дескать, довольно гнить, лучше отрезать голень

Приближается осень, чаще дождит. На березе, что стоит за оградой, уже нет ни одного зеленого листка, все пожелтели. Смотрю вслед уплывающим на восток облакам, каждое из них сравниваю с живым существом, способным передать привет родной стороне. Вот и это будет там, за линией фронта, над свободной землей. Белов стал активней, пользуется только одним костылем, ходит в коридор, в другие палаты. Принес нам первую радостную новость.

- Гитлер снял Браухича. Другого назначил. Нервничает фюрер.

- О-о! - Рыбалкин широко улыбается. - А кого же?

- Разве мало вам сказанного?

- Да, ведь Браухич, поймите! Командующий сухопутными войсками, фельдмаршал!

Значит, крупный просчет у них!

- Наверно, догадываются, что Россия - не по их зубам орех, - промолвил Белов.

- Не то еще будет, - говорит Сидоренко. - Время работает на нас! Именно время, этот антипод блицкрига. Чем дольше длится война, тем хуже для них. Услышанная новость радует, укрепляет мостки в будущее: победа, возвращение к мирной жизни, к своим... Как там мать, отец, брат? Не признаюсь самому себе, что все реже и реже о них вспоминаю...

Вдруг где-то рядом грохнул выстрел. Все переглянулись.

- Во дворе!

- Может быть, на железной дороге?

- Нет, здесь, у нас, с той стороны корпуса.

Скоро пришел санитар, рассказал подробно. Больной из седьмой палаты только на днях стал подниматься на ноги. У него было ранение в грудь, осложненное плевритом. Сегодня он подошел к окну в коридоре, опершись на подоконник, смотрел на деревья, на железнодорожное полотно. Никто его не предупредил и он не знал о приказе начальника вахты команды не глядеть в окна, выходящие в сторону железной дороги. Часовой расхаживал внизу, между деревьев. Увидев в окне человека, он выстрелил в него в упор и тот замертво упал на пол. Часовой затряс ружьем над головой, победно, словно на охоте, закричал: «Капут! Ка-пу-т». Больные лазарета убывают. Многие умерли, выздоровевших отправляют в лагерь. В палате остались Рыбалкин, Сидоренко и я. Белов стал работать, переселился к врачам. Вместо сухарей дают пайку хлеба, сделанного из муки пополам с размельченной древесиной, очень мелкими опилками, от них корка кажется серебристой. «Хлеб тонкого помола» - называет его Рыбалкин. Один раз Пушкарев вошел к нам, держа впереди себя фанерку в виде подноса, а на ней кусочки хлеба, грамм по двадцать. Медленно обошел всех, торжественно кладя каждому по кусочку в протянутую ладонь. Наверно, удалось обмануть немцев, получить несколько лишних паек. Случай с добавкой хлеба больше не повторялся, но каждый день кажется, что вот и сегодня будет добавка, а если ее нет, то можно обнадежить себя на завтра. Слабость большая, головокружение, а все же за костыли не берусь, хожу, упираясь в палку обеими руками. Надо ходить! - убеждаю себя, - тренироваться! Мысль о побеге постоянно приходит в голову. Стоит только подойти к окну - и явственно представляю себе, как ползу по траве, пробираюсь через проволочную ограду, мимо часовых, бегу к синеющему вдали лесу!.. Холодный сентябрьский дождь, тонкий и густой, льет с утра. Все с теми же мыслями о побеге стою в коридоре, около окна. Хорошо бы иметь знакомого в Лида, можно было бы скрыться у него, переждать, а потом уйти в лес... «А вот с ним почему до сих пор не перекинулся ни единым словом?» - подумал я, увидев сутулую фигуру идущего по коридору доктора Таненбаума. Хотя он и не бывает в нашей палате, у него другие, но повод для разговора всегда можно найти. Повернулся к нему - и сразу пропала охота останавливать хирурга, спросить у него что-нибудь для первого разговора. Всегда доброжелательный, приветливый с больными, сейчас он идет, никого не замечая, с мрачным, потемневшим лицом. Большая шестиугольная звезда из желтой материи нашита поверх пальто спереди, и вторая такая же - сзади. Видно, нашиты недавно, может быть, сегодня. Он с непокрытой головой, пряди черных, с частой сединой волос в беспорядке падают на лоб. Желтые звезды напоминают о смерти, она шагает рядом с ним, схватила за плечо. Сгнать евреев в гетто могли и во время средневековья. Гитлеровцы на этом не остановятся. Они уже в первые дни оккупации здесь, в Лиде, несколько человек закопали живыми в землю. Кусок желтой тряпки - клеймо отверженного. Но на энергичном лице не видно страха. Губы крепко сжаты, глаза блестят решимостью. Нет, лучше не останавливать сейчас, не трогать раненую душу! Да и, опасно разговаривать с ним в коридоре, можно навлечь подозрение, подвести его.

Источник: Каган Д. Рассказы живым: Документальная повесть / Издание второе, дополненное. — А.; Туркменистан, 1986, 208 с.

Электронную версию подготовили Денис Норель, Дмитрий Киенко, Сергей Пивоварчик.

Форматирование в PDF формат: *jromanr*

На нашем сайте Вы можете узнать больше про историю сражений в ВОВ у пос. Сопоткино:
<http://www.jromanr.com/>

2011.08